

АЛЕКСАНДР КОРМАШОВ

ХОЖАЕНИЕ

ПО

СУХОЙ-РЕКЕ



Александр Кормашов

Хождение по Сухой-реке

«Издательские решения»

Кормашов А.

Хождение по Сухой-реке / А. Кормашов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966806-6

Никто ещё не ходил по Сухой-реке в те места, где живёт белоглазая чудь. Но именно оттуда проникает на Русь загадочное серебро, лёгкое, как дерево, и прочное, как сталь.

ISBN 978-5-44-966806-6

© Кормашов А.
© Издательские решения

Содержание

ГЛАВА 1. ОНТИП СВОЕЗЕМЕЦ	6
ГЛАВА 2. БЕЛЫЙ ДЫМ И ЗЕМНОЙ КИТ	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Хождение по Сухой-реке

Александр Кормашов

© Александр Кормашов, 2019

ISBN 978-5-4496-6806-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГЛАВА 1. ОНТИП СВОЕЗЕМЕЦ

Никто не ходил по Сухой-реке. Да мало ведь кто в Заволочье про такую реку и слышал. А кто и слышал, дак отмахивался: чего о ней говорить? Звать Сухой, а воды-то, гли, море. Ни плотиною не унять, ни жердьём не промерить. Ишь как прёт, пружит берега, внутри себя бродит и горька, как стоялый квас.

Но ведь правда и то, что лишь в низовьях много воды. Тут и русские люди живут, сводят лес да пашню дерут, рожь копают да репу жнут. Сами вверх не идут и другим заповедуют. И не потому только, что путь претыкают Камни, гряда валунов, многие величиной от коровы до боярского терема, а из-за той белоглазой чуди, которая сидит за Камнями. Местная чудь этих белоглазых сама до смерти боится, не велит тревожить её, потому как считает водяной нежитью, вышедшими на землю утопленниками. Не проверено то. Утопленники аль нет, но зайти в Сухую никто пока не сумел: с верховий не нашёл волока, а подняться через пороги надеялось лишь весной, в половодье, в самую высокую воду. Не в осенний же паводок, чтобы рядом с белоглазыми зимовать! Только даже с весны перейти Камни не успевал никакой человек: путь от первых русских селений был долог, и кто бы вверх ни пошёл, всё опаздывал.

Тут задумаешься.

А Сухая и впрямь оказалась сухой.

В мягких юфтевых сапогах Онтип Своеземец ходил по обнажённому руслу, попинывая засохших ракушек и давя каблуком волосянок, длинных тонких червей, похожих на волос с хвоста соловой кобылы. Ничего не боялся Онтип, ни зверя, ни человека, ни водяной нежити, а волосянок боялся: с детства был ими напуган – обовьются вокруг ноги, выпьют кровь и утянут на дно. Онтип усмехнулся, а дно-то – вот оно дно. В свои сорок лет он бывал даже ниже речного дна: евонные же людишки, гольё, челядь дерноватая, подлые души, зарывали уже Онтипа в песок, чтобы теперь уж наверняка, чтобы теперь уж из этой двойной могилы Своеземцу не было назад хода...

Онтип опять усмехнулся. Сын вдовой боярыни новгородской, прижитый тою от литвина-ключника, он с детства знал многие ходы-выходы: у немчинов жил, в грамоте их был сведущ, к мурманам хаживал за моржовым клыком, служил молодому князю Белого озера, ходил воевать корелу, тягался с Ростовом за Сухону, зорил с татями волжские городки, а голову сберег только, схоронив себя в тёмных двинских лесах, где слышал даже кунщиком, собирателем дани с чуди, покуда не прикупил на Ваге-реке «свою землю», двенадцать малых рек и без счёту ручьёв «со пожни и лесы, и полешние лесы, и страдные земли, и ловища». Внудёшево обошлась та купля – в двадцать тысяч белок и десять рублей серебром. Но нашёлся с деньгами Онтип, а как стал своеземцем, о Новгороде боле не помышлял, Заволочье не покидал, и давно жил на Ваге как сын, не давая лишнего повода о себе говорить.

Ведь давно шла по Ваге молва, что этот новгородец непрост: то сидит в своей тёплой волчьей норе, собаками на волю не выгонишь, а то прыгнет куда, и хвоста не заметишь. Хитёр. За богатый прибыток головы своей не жалеет, но ума не жалеет тоже, а когда сбивает ватагу для новой тайной затеи, то прознать никому не даст.

Это верно. Никто не прознал про амбарную клеть, что поставил Онтип возле самых Камней, и про то, как копил он там хлебный припас, соль, пеньку, железо с походной кузней да меняльный товар для чуди, а потом уж и вовсе зимою, по льду, на санях, подтащил лошадьми три лодейки, сшитые по-морскому, однако же не такие большие. Плоскодонные ушкуи в те дни ещё были внове, да берёг их Онтип – чего зря скакать по камням? Не вызнал также никто и про собранную ватагу в три дюжины душ: половина справных мужей, половина лихих. С ними каменную гряду по весне и перевалили – в самое половодье, по высокой воде, на пеньковых верёвках, в которые наравне впряглись что люди, что лошади.

Закаменная Сухая встретила три лодыи гомонящей птичьей весной. Порадовала людей. Пока держалась вода, шли с песнями, руки приросли к веслам, за одну луну поднялись вверх изрядно, и вдруг наступило лето. Жара и ни одного дождя. Дошли-таки до большого притока, который назвали Травницей, и сунулись было выше, и вот тут-то Сухая показала себя. Будто кончилась наотмашь река, вдруг пошла по всей ширине песчаными сушами, обратилась в жалкий ручей. Не протащишься. И всё-таки потащились. Да слыхано ли то дело, чтобы вверх по реке идти таким волоком? Тут-то и пожалели об ушкунях, что сидят в воде мелко, дно не скребут. Пожалели, посетовали, повернули назад. И блеснула опять вода речки Травницы, да лодыи уж захрясли в песке недвижно. И как раз – напротив холма, что высоким подточенным мысом застыл меж Травницей и Сухой.

Оставив лодыи в песке, Онтип объявил суд и ряд. Показал на холм, а вон там и поговорим, сам же медлил всё, всё ходил по реке, попинывая ракушек, давя волосянок да на небо поглядывая. Ох, и белое у них небо, как глаза самих белоглазых!

Так дошёл он по речному песку до самой Травницы, попил холодной воды, долго мылся, смывая с шеи засохшее мыло пота, постоял на краю воды. Это верно, что Травница. Травяная река. Дивно как затянута тиной, сплошное зеленое волосьё. Сытая река тож: в устье рыбы – на лодке не протолкнуться. На такой реке зимовать – бед не знать. Вот тогда-то и пронеслось в Онтиповом уме слово, что напрашивалось давно.

Летовать.

Нет, не зря Своеземец новгородским обычаем призывал к вече, а себя подставлял уже напослед: как бы вот он я, Онтип Своеземец, тут всегда, ваш призванный князь, народцу вашему попуститель и избавитель.

Народец собрался на самом верху холма, в тени сосен, на хрустком и сухом белом мху и, лениво рядясь-судясь меж собой, поглядывал на обе реки.

Да, холмина изрядная, гожая к обороне, клином входит меж рек. Ров отрыть, городок срубить – совсем подступу не будет, рать пересидеть можно. А уж глазу какой простор! Какие наволоки кругом! Словно паводками распёрло холмы на все стороны и свело вдоль реки леса. Это больно как хорошо, когда такие наволоки кругом, да с болотцами. Травокосов будет отменно.

– Летовать? Почто это летовать? Кто не орайт, для того летовать есть безделье одно. А наш воробей, ему зима полюбей. Белку бей да куны вяжи, а не хошь, на печи лежи. Тоже дело, – больше всех говорил Игнашка Баюн, живой как выюн и всегда охочий потолковать. – Как ты мыслишь, Есипко?

Есип Оглобля, старик, ходячая кормчая книга, спутник Своеземца во всех походах, плохо мыслил словами, коих знал мало, а если мыслил, то каким-то внутренним оком. Это око охватывало не только Сухую с её притоками, но и сотню-другую больших-малых рек с двумя десятками торных волоков между ними, а также и всю, выгнутую на север, великую дугу озёр – Ильмень, Ладога и Онега, Воже и Лача, Белое озеро и Кубенское. Для Есипа вопрос летовать или зимовать десятый по счёту. Он везде свой, везде дома. Пускай ему домом всё больше места глухие, не русских богов владения.

– У Оглобли язык от жары отсох, – не дождавшись Есиповых мыслей, снова подал голос Игнашка Баюн. – А вот буде Мать-Мокошь дождика не пошлет, то и Травница пересохнет. Только нам-то лето терять – как год. Что, не то? Не то, говорю, Симеон? Не то?

Симеон Устюжанин, кормщик второй лодыи, а потому второй по старшинству муж, для начала утомительно посопел да погладил свою большую и круглую, словно репа, голову.

– Не то. Не то. Буде Христос не смилостивится, не то, – важно отвечив Устюжанин, в словах веры строгий и в делах тоже. Богатства однажды не пожалел, купил владимирскую икону, иному монастырю даже дорогую. Но больно уж её бережёт, чужому помолиться не даст. В этом весь Устюжанин.

Воссев на горе, выше всех, Симеон только делал вид, что думает вместе со всеми. Сам же больше думал о чужой жадности, о Жаде бесовской, снедающей сейчас Своеземца. Насколько он знал Онтипа (а был с ним товарищем по крови и соли), те десять рублей серебра, данные чудинам за землю, совсем замучили Своеземца. Переплатил, ой, чисто переплатил! И как только он услышал про здешнюю белоглазую чудь, утерпеть уже больше не смог. Сказке про вышедших на землю утопленников, конечно, не поверил Онтип, потому как давно уже верит другой – про белые самородки, что вставляемы некой чудью в глаза своих мертвецов. Мол, отсюда и название это – белоглазая чудь. Много лет искал Своеземец белоглазую чудь по всему Заволочью. И теперь уже не отступится, пока не нароет чудинских могил или самого серебра не найдёт.

Только тут бы спешить нельзя. Тут уж всякая дровина в поленницу. Поначалу бы поставить погост, простую деревянную клеть, да товару в ней разложить, не так много, а лишь на меновый торг, дабы потом вернуться да посмотреть, что чудины забрали и что положили взамен. Так бы несколько раз, а потом уже гостем на реке сесть. Купцом, стало быть.

Вот это бы хорошо, думал по себя Симеон Устюжанин. Торговать Устюжанину, самому из гостиных детей, поспособнее. В этом он понимает. Спроси, так сразу всё и расскажет, с чем ходит Новгород в Заволочье, а с чем Ростов в Новгород.

Только ростовцам вот ныне не до Заволочья. Потрепал их московский Иван Калита, разорил крепко. В Орду Калита собирался, за великое владимирское княжение думал выход везти. И ярлык заодно на ростовское княжество прикупить. Вот ростовским же награбленным серебром и купил Калита весь Ростов. Много, много серебра князь московский нынче возит в Орду! Да так много, что в Орде уже наострились, не нашёл ли московский князь на Руси каких серебряных рудников?

Верно ж, есть на Руси богатые копи, только всё серебро в них заморское, а имя им Новград. А другого серебра нет. Может, есть где-то на Перми. Да Пермь где?

Это лишь Игнашка Баюн, что ни ночь, рассказывает про Ондреево серебро. С первых же дней, как за Камни перевалили, так и держит ватажников в серебряной паутине, как паук мух. Вон, поди ж ты, ведь самый пустой человечешко на лодьях, а какую силу имеет! Но спроси, да откуда ты знаешь про серебро? Бают, говорит, бают. Так Баюном и прозвали. И откуда только к Своеземцу прибился? Шут боярский со своей сказкой!

«Про Крещёный Камень слыхали?» – начинал без зачина Баюн. – «Ибо сказано, где-то в здесь, в Заволочье, крещёный камень стоит. Большой камень, бают. Дивно большой. Я так мыслю, что не менее, чем немчинский корабль. Только это сейчас он камень, а тогда был Ноев ковчег. Во-во. Перевернутый кверху дном. На котором Ондрей Первозванный сидел и плакал за Русь три дня и три ночи. Да кто и не слышал! Как сидел, убивался и как плакал горько Ондрей. Вон когда ведь апостолу уже было ведомо, что татары придут на Русь! От того ли горя Ондреева, только стал ковчег каменеть. А уже из-под камня родник забил. То слеза Ондреева чистая потекла, выжимаясь из пропитанного слезой дерева. А когда перестанет течь, тут Руси и конец придет. Ясно? Да кто и не знает!

Дело то ещё, что чудины Ондрея не разумели. Сами баяли мне, что их допрежние люди, дедами их называют, будто видели какого-то человека в слезах, а уразуметь не сподобились. Лишь потом втащили на камень деревянного идола, да в лицо ему, в грудь и живот навтыкали серебряных гвоздиков. Да и камень-то всякими знаками испещрили. Насекли вокруг мужиков, бабу страшную на олене, древо тут же, с небесной лодьей в ветвях, лестницы тоже, одну наверх, к идолу, и другую под землю, откуда бежит ручей.

Только Бог Христос не попустил надругательства, выслал с неба ангела огненного, и пожёг ангел идола, даже лес кругом попалил. А как на небо опять улетал, то на эти бесовские знаки своё крестное знамение наложил. Раскололся с этого камень двумя глубокими трещинами, одна вперекрест другой. Вот и стал с той поры этот камень Крещёным. И от радости

той великой, что избавлен от скверны языческой, лишь сильнее забил из-под камня родник. Ещё звонче, журчее, серебрянее. Ибо чудо со слезами содеялось. Потому как пошло выстилать весь ручей, и по дну и по берегам, да от самого начала его, от Камня Крещеного... серебром одним самородным! Камушка в том ручье не сыскать в его простоте, а какой ни поднимешь – чистое серебро!

А вот где этот Камень Крещёный стоит? Сам я мыслю, что где-то здесь. На Сухой на реке. Ибо сказано сторожат его три воды. Бурая, белая и жёлтая. Бурая – это значит полная жизнь. Это значит низовья Сухой. Белая вода – уже смертью дышит река. Это значит пороги каменные. Жёлтая – значит смерть сама. Песок, стало быть. И отсюда я мыслю так, что к Камню подступу нет. Только разве что с чистой молитвой да иконой владимирской...»

Каждый раз, как слушал Баюна Симеон Устюжанин, лишь только насупливался. Далась им его икона! Вот ведь клады открывать ключё У людей и так – не глаза, а одни синие огни над углями. Ведь зарежут ещё, лихие, коль икону им не подашь.

И ещё глубже погрузился в себя Симеон Устюжанин. Начал перебирать людей, которые способны на зло. Все способны. Разве что вот Ермилко Мних. Грамотный человек, из Кириллова беглый монах, хотя тоже чудить горазд. За Мниха особенно Симеону обидно – хоть и беглый, но божественный человек. Все молитвы наизусть помнит, какие ни читал бы когда. И поёт так чувствительнее иного дьякона. Дал же Бог человеку такой нерастраченный дар – ажно в монастыре стало ему тесно. Но оттуда-то можно, а от Бога не убежишь.

Как Онтип Своеземец при себе Игнашку Баюна держит, точно так Симеон Устюжанин Ермилку стал опекать. Уж как станет Ермил – мил, мил-человек! – станет петь тро-пари-кондаки, да ещё на разные голоса, с Симеоном тут прямо какое-то растворение происходит. Будто в храм он всходит владимирский и подходит сейчас под благословение самого бы митрополита, в золото бы тот облачён, но, однако, тоже из воздуха, и вот-вот бы приложился к руке, только что это?.. Открывает глаза Симеон – тьфу ты, это ж Ермилко Мних!

Ох, и зол бывает за такой нечестивый обман Симеон, а Ермилке всё нипочём. Когда ещё бывать биту, а пока быть бы сыту. Да и в рясе человек тож. Не смотри, что по колено обрезанная да на поясе вервием прихваченная, а за ним кривой нож, всё одно – ряса. Богом клянётся, что с архимандрита сташил. То неведомо. Однако сукна богатого. Сносу нет.

Мних, коль иконы Симеон не даёт, этой рясой архимандритовой приспособился чудь крестить. Да всё больше чудинок. Поймает какую, приволокёт на лодью, а потом уже, посередь реки, хват за волосы, кувырк в воду и да ну макать. Та визжит, а над рекой Мнихов рёв:

– Крещается раба Божия Евдокийя во имя Отца... – бултых! – и Сына... – бултых! – и Святаго Духа! – бултых! – Аминь.

В одно только имя и крестит. И никто в этом деле указать Ермилке не смеет, потому как крещёные евдокийки даже пахнут не столь богомерзко.

Две из них и сейчас живут на лодьях. Из-за одной такой евдокийки и пропал душа-человек Федорко Ростовец, третьей лодейки кормщик.

Справный муж, разнимал Федорко Ростовец как-то драку между лихих, да упал с лодьи в воду ненароком да и утоп сразу. Утонул, добрая душа. Толком того никто не видел, да видать, на дно камнем. Искали и не нашли.

Нет теперь кормщика на третьей лодье.

А ведь трое их было в ватаге таких – великих между собой. Онтип с Великого Новгорода, Симеон с Великого Устюга да Федорко с Ростова Великого. А теперь осталось лишь двое. Только им двоим, только им под заклатьем геенны огненной теперь ведомо, что ж такое хранит Игнашка Баюн, пустомеля, лодейный шут, хвост овечий, в мешочке у себя на груди взамен божеского креста.

А серебряный перст.

Серебро, серебро – в том не сомневались ни Своеземец, ни Устюжанин, подержав перст в руках. Лишь Федорко Ростовец задумался было да сказал: «Серебро, а серебра будто легче. Серебро, а железа потвёрже будет».

Так думал да вспоминал про себя Симеон Устюжанин, а солнце пошло уже клонить за холмы, золотом потекло по сосновым стволам, и серебряно зазвенели первые комары, путаясь в бородах ватажников.

И вот тут-то Своеземец поднялся, наконец, и выступил в середину охрипших от споров людей.

– Присоединяюсь за город, – заявил он. – Даст Бог дождя аль не даст, того знать не даст. Может, и до осени сухо будет. Так что, либо нам уходить сейчас вниз, либо лето целое летовать. А тогда, согласен со сказанным, надобно рубить город. С городом, если что, и зима не будет страшна. Так сказал, а уж решать будет вам.

Начали рубить сразу, но и к снегу ещё не закончили. Сладили только сам городок, оставив какие-то сосны стоять на корню, вкопав между них другие и выставив таким ладом бревенчатый частокол. Со стороны же леса срубили стену двойную, с земляною засыпкою, для чего и отрыли снаружи ров. За рвом свели все деревья почти на полёт стрелы и втащили заготовленный лес в городок.

Внутри городка сделали только главное. Срубили баньку, потом небольшой амбарец, а жилую клеть справили совсем наскоро: поставили избёнку на пнях, затолкали под нижний венец бобыли, стены наспех проткнули мхом, пол настлали из колотых, груботёсанных полубревён, и таких же, только полегче да выдолбленных, накидали на односкатную крышу. Не текла – и то хорошо. А что ветер гулял и снег задувало – затем ведь и торопились. Лето короткое, а дел много.

Одну из лодей в конце лета отправили вниз, к Камням, доставить хлебный припас да соль, да железо с походной кузней, да всякий мелкий товарец для чуди. Вторую лодья, как ранее и условились, с первыми же дождями наладили идти вверх. Своеземец себе отбирал только самых крепких двужилых людей, оттягивая от Устюжанина плотников.

Первее всех, громогласнее всех, собирався в поход Игнашка Баюн, только вдруг, накануне уже отплытия, ни с того, ни сего вдруг закашлялся, ухватился за грудь, заморгал глазёнками да и слёг. Сказал, что помирать будет. Всю ту ночь в головах у Игнашки просидели Своеземец да Устюжанин, а наутро Своеземец отплыл. Игнашка же ещё полежал, а потом стал со смертью годить. Всё покряхтывал да постанывал, да канючил про жизнь-обузу, но уже начал потихоньку вставать и всю осень был сам себе тысяцкий. Какое дело приспееет, то и станет его. Грибов-ягод насобирает, а не то чудинкам чем подсобит, дров-воды им наносит, не побрезгует и котлы песком речным отодрать.

Баюном же как был, так от сказок не отступился, а вот телом стал сохнуть. Расчёта на него не было никакого, но живой человек всё же радость всем: больно мало людей оставалось на городке. Всех здоровых Устюжанин водил на Травницу, бечевою тащить лодью, последнюю остававшуюся у них, доставать из реки ровный камень да раскапывать в берегу пласт нежирной, нелепкой глины за тремя холмами от городка. Где же тут в сосновых-то борах глину взять?

Глиной и подгубили лодью. Удержать в повороте, осевшую, никаких не хватило сил. Налетела лодья на камень, треск, а починить уже недосуг. Потому и печь получилась худая; сбита из плохой, с подмешанным песком глины, она стояла нетвёрдо, сыпалась, грела плохо, а утрами на реке уже позванивали-пощёлкивали ледовые забереги.

Выше городка река встала рано, на Якова Дровопильца. Сухая-река и на зимнее сухопутье скорая оказалась. И лишь только по полынье, что во льду промывала в ней Травница – та гуляла в берегах до Зиновия – и сумела пробиться по реке снизу, от Камней, лодья с долгожданным зимним припасом. Только-только успела, к самому мёртвому ледоставу.

А вот сверху Сухой так никто и не объявился.

На Введение Богородицы Игнашка решил-таки помереть. Может, и надорвался когда – когда воду таскал евдокийкам, но народ давно уже примечал, что иссох Игнашка Баюн, а теперь на лавке лежит, как в колоде.

– Есть ли какое слово или дело забвения ради, или студа, или какая злоба к твоему брату неисповедана или не прощена есть? – отряхнув с рясы сыплющийся с потолка сор, начал Ермилко Мних честь по чести соборование.

– Есть, – ответил Баюн и покался перед всем христианским народом. Как открылся ему перед смертью один лесной человек, из былых новгородских кунщиков, и как отдал ему серебряный перст, заповедав снести в новгородскую Святую Софию, отмолить у нечистого его душу, и как долго потом не давал Игнашка несчастному помереть, всё выпытывал про Сухую реку, про её непонятное серебро. А теперь уж и сам Игнашка заповедует то же – отнести сей серебряный перст в Софию, да к сему присовокупить и его Игнашкину, ватажную его долю, уж какая ему причитается. Или если. А пока похороните с молитвой. И помер.

Симеон Устюжанин при всем народе снял с груди у Игнашки мешочек, достал серебряный перст, дал каждому его подержать, а желающим попробовать и на зуб, и открыто, прилюдно убрал в денежную кису у себя же на поясе.

В долблёной колоде, прикрытой сверху доской, похоронили Игнашку за стеной городка, и пока Ермил Мних пел длинную, как зима, молитву, и пока закидывали могилу перемерзшей землёй, ни на миг Симеон Устюжанин, стоящий важнее всех, не спускал с груди свою владимирскую икону, и от этого острый, выюжный, волком тянущий с полуночи ветер, что бросался в Симеонову грудь, отлетал.

ГЛАВА 2. БЕЛЫЙ ДЫМ И ЗЕМНОЙ КИТ

Через месяц, как встала река и по мягким снегам за стеной городка потянулись следки собольков, куничек и белок, ранним утром Ермилко Мних, побудимый во двор нуждой, вдруг заметил на дальнем лесном окоёме, где-то там, в верховьях Сухой, белый дым.

– Дым! – завопил Ермилко, сам не зная ещё, зачем завопил, а, верно, более оттого, что солнце, мороз и тихо. – Дым! – и, поддерживая под рясой порты, которые уже успел развязать, зарысил к городочному частоколу и полез на высокие помосты, устроенные с внутренней стороны городка. – Гли-те, честные люди, дым-от какой! – прокричал он оттуда на стылую гладь реки и безмолвную вокруг даль.

– Чаво орёшь, нешто иерей? – пробасил снизу Услюм Бачина, ватажный знахарь, одутловатый, с бабьим брюхом мужик. – Ну, дым. Порты сронишь. Дым. И вчера был дым.

– Дак я... а я и не видел, – растерянно проговорил Мних, теребя бечёвку портов.

– Дак с того и не видел. Кто вечер нестоялую брагу вылакал?

– Брагу? – нерешительно оглянулся Ермилко.

Бачина был уже не один. Эх, подумал Ермила, не повезло. И Онисим Кочерга тут, свою чёрную рожу кажет, и Евстюха Торжок обочь, оба драчуны злые, а уже и Касьян Мехряк поспешает, и другие – и всё вельми тверёзый народ.

– Брагу, что ли? – грустно переспросил Ермилко и опасливо поглядел чрез стену вниз, на голый, бесснежный, уходящий к реке обрыв.

– Брагу, – твёрдо и за всех молвил Услюм Бачина.

– А-а... – Ермилко потянул время. – А-а. Дак это котору?

– Да котору на Рождество, – с язвою прозвучал снизу голос.

– А-а.

И почувствовав срочный позыв, Мних быстро засуетил пальцами, обратно развязывая бечёвку. И уже похлестав на реку своей бурой шипящей струей, он с печальным выходом согласился:

– Брага.

– Во-во. Ты зря, Ермил, не завязывайся. Уж одно сейчас...

– Снега, что ль, натолкаете?

– Снега? Поленьев!

Как ни скакал Мних по помостям, как ни козлил на потеху всем, полоща свой куцей рясой, а за город сигнуть не решился. В городке же поймали и отходили от всей душой. Мних был голосом. С обиды на своего покровителя, на Устюжанина, не внявшего мольбам о заступничестве, он всю ночь стонал и грозился, что уж вот как встанет, так сразу и убежит, да хотя бы к чудинам, те-то, верно, более люди, будь хоть песьеголовцы, как наутро уже Ермилку подняли и велели собираться идти. Много не спорил Мних, сразу понял, зачем это посылается отряд по реке вверх. Честь у попа худа, да и без попа никуда.

Шёл Ермилко едва живой, обивая о глыбки льда обутые в чоботы ноги, через шаг спотыкался и не падал лишь потому, что с содроганием опирался подбитым, но зрячим глазом на спину идущего перед ним Услюма Бачины; шёл и много ещё благодарил Бога, что плечи его не огружены ни мешком, ни берестяным коробом. Единственное, что имел при себе, так это украденную, нарочито злодейски украденную владимирскую Устюжанинову икону. Не на грех ведь взял, а на смерть. Он прятал её у себя на груди, за отворотом самошитой шубейки, а руки потуже засовывал в рукава.

Ох, не видеть бы ему дыма, не видеть в глаза! Ох, не слышать бы мужиков, их весёлые с надеждою голоса, что не может быть этот дым чем иным, кроме как поданного им знака.

Знать, застряла лодья Своеземца во льду, и пешком они идут по реке, и зовут выходить им встречь. Не чудины же, право, сырую хвою палят?

Потерял все ноги свои Ермилко за первые два дневных перехода. Много раз отставал, умирал и опять догонял свою ходкую братию, а потом замертво рухнул на лапник у разложенного к ночи костра. Разбудил его будто собственный сон. Будто кто-то ему говорит о столпе облачном, ночью огненном, что водил когда-то по пустыне евреев, а теперь гуляет сам один по тайге.

Мних от ужаса не смог спать, несколько раз вставал, отходил от костра, стоял под полной луной и смотрел в стылую прозрачную темноту, где воем блажили волки. Дым был виден и ночью. А может, то и не дым?

С рассветом снова пошли, и пошли очень ходко – по безветрию полному, по морозцу, с солнышком низким в спину. И почти как дошли, только снова настала ночь. В темноте уже поднялись на берег и начали было устраиваться, да вот тут и услышали, будто что-то в лесу шумит, но не лес, не деревья, а будто мельничная плотина. Утром ложиной продвинулись сквозь лес с полверсты, как увидели другую реку, чем-то очень подобную даже Травнице, только поперёк её стояла каменная запруда. Ровная серая стена перегородила реку, в ней три гладких одинаковых желоба, по которым с великим шумом падает вода вниз. И такой же великий пар стоит над водой и столбом поднимается до небес, потому что вода в реке тёплая, аж горячая. А в воде-то не серебро ли блестит?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.